
Трое смотрят, светится один...

Андрей Фамицкий

Я был немым, но мой светился рот,
и, кулаком не пробивая лёд,
я видел: ты со мною говорила.
Здесь и звезде бывать неважно,
её солдат сбивает на лету,
орлы — над нами, а над ними — вилы.

Давай, мой мальчик, там, в степи, ложись,
ты солнцу говорил: «Остановись!»,
повязанный мышленьем Птолемея.
Но в глубине души весь космос зрил,
и вот Господь тебе глаза открыл,
и ты застыл, пред Ним благоговей.

В такой глуши, где воздух был нетронут,
не попадавший в лёгкие ничьи,
там в озере образовался омут,
а вдоль холма прорезались ручьи,

там продолжалось Божие творенье
уже само собой, без повеленья.

Земля вторично жизнь произвела,
и там, где прежде глина розовела,
лежало человеческое тело,
а позже рядом женщина прошла.

Всё прочее осталось на бумаге,
и устыдились мы, что были наги,
перебрались в седьмой микрорайон,
где сам не помню, сколько лет живём.

Рука качает детскую кроватку,
на тремпеле сто лет висит пиджак.
Закат угас, и звёзды в беспорядке —
в созвездия не сложишь их никак.

Я смотрел невооружённым взглядом
на звёзды и планеты.
Я слушал невооружённым ухом
голоса перелётных птиц.
Я прикасался невооружёнными пальцами
к остывающим камням.
Что я ещё мог сделать, чтобы остановить войну?

Противлюсь сам, тебя учу тому же
и буду с теми, кто был против нас.
А снег разглажен, будто проутюжен
в последний, может быть, последний раз.

И на меня её наденут тоже —
последнюю рубашку бытия,
но вырвется и улетит, быть может,
душа непостоянная моя.

За то, что видел дальше, поплачусь я,
а близкого и даром не возьму.
И я хотел прославить захолустье,
но не прославил, судя по всему.

Я видел мир в просветы между досок,
чердачной пылью тридцать лет дышал,
полжизни задавал себе вопросы
и сам на них полжизни отвечал.

И в мире не найдя себе подобных,
я, если говорить начистоту,
противиться готов, чему угодно,
кому угодно — только не Христу.

